

Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации / Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1993.

В. М. Живов

**ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В РАЗВИТИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К СЛАВЯНСКИМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКАМ В XV—XVII вв.**

1. В своем известном докладе на IV Съезде славистов Д.С. Лихачев сопоставил второе южнославянское влияние у восточных славян с теми культурными явлениями, которые были характерны для Западной Европы накануне Возрождения. Выделяя сходные тенденции, он полагал, что оправданно говорить об однородности культурного развития и, соответственно, о восточноевропейском Предвозрождении. Это развитие, правда, совершается "в пределах религиозной мысли и религиозной культуры", однако "оно также полно интереса к античной и эллинистической культуре, носит уже отчетливо выраженный "ученый" характер и связано в Византии с филологическими штудиями" (Лихачев 1958, 54). В общем виде эта концепция вряд ли может быть обоснована, поскольку в ней не находит отражения радикальное несходство культурной ситуации в Византии и славянских (прежде всего восточнославянских) областях. В Византии наряду с духовностью аскетического типа, получившей развитие, в частности, в исихастском движении, существовала и гуманистическая традиция, которой и в самом деле был свойствен интерес к античной культуре и филологическим изысканиям (Никифор Григора, Варлаам Калабрийский). Второе южнославянское влияние никакого отношения к данной традиции не имеет, тогда как

западноевропейское Предвозрождение непосредственно с ней связано. Тем самым в основе отождествляемых Д.С. Лихачевым явлений лежат совершенно разные, даже антагонистические культурные системы, а обнаруживаемые сходства имеют лишь внешний характер (ср.: Живов 1989). Это, однако, не означает, что в Московской и Литовской Руси не было никаких явлений, аналогичных западноевропейскому гуманизму.

Как показал Р. Пиккио (1975), аналогии могут быть выявлены прежде всего в сфере отношения к тексту, к проблемам его передачи (*traditio*), сохранения и исправления; здесь могут быть обнаружены и общие истоки, и элементы прямого влияния, хотя различия исходных культурных систем обуславливают разные типы развития и препятствуют рассмотрению их как единого процесса. Как уже было сказано, нет оснований говорить о едином византийском источнике западного гуманизма и процессов, связанных с исправлением книг, у славян; здесь, на мой взгляд, предложенная Р. Пиккио схема развития несколько упрощает действительную картину. Наиболее существенным моментом, отличающим восточнославянское развитие от западноевропейского, является состав основного корпуса текстов, на который ориентирована как вся культура в целом, так и филологическая деятельность, в частности, выработка нормативных нарративных структур, норм книжного языка и т.д. В рамках *Slavia Orthodoxa* этот корпус включает лишь религиозные тексты (Св. Писания и богослужения), тогда как для Византии и Западной Европы в него входят (хотя бы и в ограниченном объеме) также и "классические" (т.е. античные) авторы. В силу этого связь между религиозными ценностями и филологическими задачами оказывается для православного славянства еще более выраженной, чем в западноевропейском гуманизме.

Развитие нового отношения к тексту действительно начинается со второго южнославянского влияния. Само обращение к южнославянским образцам не было простой подражательностью, но исходило из идеи очищения и упорядочения основного корпуса текстов: южнославянская книжность воспринималась в данный период как более "правильная" и устроенная, т.е. как подходящий инструмент для решения задач, возникших на собственно восточнославянской почве. Принципиальное значение имела постановка этих задач; она указывает на развитие филологической рефлексии, в результате которой и обрывается новое восприятие предшествующей литературной традиции — не как привычной данности, а как объекта преобразований. Как и у западных гуманистов, этот момент отмечает, хотя бы потенциально, "the end of any *scriptum est* or *ipse dixit*, truths established once and for all" (Пиккио 1975, 170). Отчетливее всего это новое восприятие может быть увидено в лингвистических инновациях.

Новое восприятие создавало перспективу, в которой предшествующая эволюция русского извода церковнославянского языка, когда книжный язык сближался с языком разговорным, начинает рассматриваться как "порча", приведшая к дестабилизации лингвистических характеристик того самого основного корпуса текстов, который должен служить эталоном языковой и литературной (и одновременно

вероисповедной) правильности. Соответственно, перед русскими книжниками встает задача "очищения" книжного языка, и естественным средством такого "очищения" представляется отталкивание книжного языка от языка разговорного. Южнославянские тексты выступают при этом как модель, поскольку их лингвистические характеристики находятся в явном противостоянии с естественными речевыми навыками русских писцов. Нагляднее всего это новое восприятие выразилось в орфографии: на смену постепенной адаптации церковнославянского на русской почве, приспособивавшей книжную орфографию к местной фонетике, приходит деадаптация как отказ от естественных речевых навыков (см.: Живов 1988, 64—66). Совокупность соответствующих инноваций и рассматривалась изначально как основные признаки второго южнославянского влияния (см.: Соболевский 1894; 1980, 147—158; Ворт 1983б; Успенский 1987, 203—211).

2. Развитие, связанное со вторым южнославянским влиянием, не сводится, однако, к замене одних образцовых текстов другими, к замене одной орфографической нормы другою. Первоначально новое отношение к тексту реализуется в сфере воспроизводимых текстов, т.е. тех текстов, которые переписываются, редактируются, перерабатываются, но не создаются заново. Именно к этой сфере принадлежит основной корпус текстов, реформирование которого как фундамента всей культуры и было задачей, вызвавшей обращение к южнославянским источникам. По-новому переписываются или появляются в новых редакциях тексты Св. Писания, вносятся изменения в богослужебные тексты, расширяется состав нормообразующих памятников (например, в области аскетической и агиографической литературы). Однако преобразования не могли ограничиваться одним лишь основным корпусом, поскольку изменение закрепленных в нем норм требовало смены норм и в книжной деятельности в целом. Ориентация этой деятельности на основной корпус текстов делала невозможным сознательное расхождение нормы воспроизводимых текстов и нормы текстов оригинальных. Новое отношение к тексту должно было, следовательно, преобразовать и оригинальную книжную деятельность [1].

Действительно, принцип отталкивания от разговорного языка, определявший привлекательность южнославянских образцов, разрушал механизм порождения новых книжных текстов, присущий предшествующему периоду и основанный на соотносительности книжного и живого языка, поэтому возникла необходимость в регламентации иного типа, не апеллирующей к ресурсам живого языка, а выражающейся в системе абстрактных правил. Появление таких правил указывает на развитие грамматического подхода к языку, а "второе южнославянское влияние" выступает как стимул этого процесса. В развитии грамматического подхода, приходящего на смену подходу текстологическому (Толстой 1988, 72—73, 108—109), и можно усмотреть ряд моментов, находящихся соответствие в западноевропейском гуманистическом отношении к тексту.

Переход от конкретных образцов к автономной регламентации можно наблюдать в той же орфографии. Так, одним из проявлений

отталкивания книжной нормы от разговорного языка была орфографическая дифференциация омонимов, прежде всего омонимичных грамматических форм (типа род.ед. **нощи** — им. мн. **нощи** — см.: Зизаний 1996, л.Г/4—4об.: см. об этом: Успенский 1987, 218—223): неразличение этих форм воспринималось как удел необработанного языка (в частности, живого), тогда как культивируемая книжная норма требовала, напротив, дифференциации. Образцы такой дифференциации могли быть найдены у южных славян (например, у Константина Костенечского — см. Ягич 1896, 124; ср.: Успенский 1987, 217; Голдблатт 1987, 258), однако эти образцы выступают лишь как модель, на основе которой создаются собственные орфографические предписания. Так, например, в трактате "О множестве и о единстве" противопоставляются формы им.ед. ж.рода **аггльская** и им.мн. ср.рода **аггльскаа** (Ягич 1896, 432—433; ср.: Ворт 1983а, 52); такая оппозиция не имеет прецедента в южнославянском материале и представляет собой, в сущности, сочетание разнородных орфографических вариантов. Построение новых орфографических моделей никак не может быть обусловлено лишь выбором новых образцовых текстов и представляет собой элемент грамматического подхода, при котором само значение образцовых текстов релятивируется.

Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении лексики. Отталкивание от разговорного языка делает актуальным противопоставление книжной и некнижной лексики. В связи с этим возникает потребность в расширении состава специально книжной лексики (ср.: Лихачев 1958, 28—29; Виноградов 1958, 101—105), и это обуславливает употребление грецизмов и лексики, характерной для южнославянских изводов церковнославянского языка. В основном, однако, словарный состав книжного языка расширяется не за счет этих элементов, а за счет слов, заново создаваемых по специфически книжным словообразовательным моделям (сложные слова, существительные с суф. **-тель**, прилагательные с суф. **-тельн-** и т.д. — см.: Кайперт 1970, 151 сл.; Кайперт, 1977, 39 сл.). И здесь, таким образом, значимость моделей перекрывает значимость образцовых текстов, и это также может быть связано с развитием грамматического подхода [2].

Отталкивание от разговорного языка должно было несомненно сказаться и на грамматике книжных текстов. Понятно, что нормализация употребления книжных грамматических форм не могла опираться на образцовые тексты инославянской традиции. Реформированный книжный язык нуждался в последовательном употреблении специфически книжных элементов, причем такое употребление должно было быть систематическим, т.е. опираться на определенные правила, имеющие дело с общедоступным и общезначимым языковым материалом. Эта потребность и лежала в основе восточнославянской грамматической традиции. Правила употребления специфически книжных элементов, в частности, простых претеритов, в восточнославянских грамматиках отсутствуют. Поэтому мы, вообще говоря, не знаем, как русские книжники добивались их систематического (грамматически нормализованного) употребления. Очевидно, однако, что,

каким бы образом ни передавалась соответствующая лингвистическая информация, этот процесс предполагал существование какого-то грамматического аппарата описания. Как и все европейские грамматики средневековья (вплоть до появления грамматических описаний Пор-Руаяля — разного рода "Nouvelles Methodes"), славянские лингвистические трактаты содержали прежде всего каталог форм, т.е. задавали классификацию языковых элементов, но не способны порождения текста. Такая классификация, однако, была необходимой предпосылкой какой бы то ни было регламентации употребления. Регламентация употребления должна была исходить из осознания парадигматической соотнесенности форм как предварительного условия: чтобы систематизировать употребление форм аориста и имперфекта, надо было сначала знать, что *прия* и *прияша* относятся к одной категории форм, а *прияше* и *прияху* — к другой. При наличии классификации, какой бы она ни была, можно было приступать и к предписаниям, касающимся обращения с этими формами. Можно предполагать, что эти предписания носили экземплификативный характер, т.е. состояли в указании на контрастирующие примеры (см.: Живов 1986, 85—88).

Хороший пример того, как классификация форм клалась в основу систематизации их употребления, можно найти в прениях Лаврентия Зизания с московскими справщиками, правившими его Катехизис (1627 г.). Здесь, в частности, обсуждалось различие желательного наклонения и будущего времени. Так, московские справщики говорят: "Да переменяли мы в твоей книге реч: Отче наш, иже еси на небесех! да освятится имя твое. И так у тебя есть і во многих мѣстех книги твоея, а имя божия не освящается, но освящает. Лаврентиі рече: Будущего времени являет реч, как прочая в молитве сей, прошения: да освятится, да придет, да будет. Мыж рѣхом: Рѣч толко желателнаг образа может и настоящего времени не отступити; аще бы не желателнаг образа была рѣч сия, то бы не прилагался к ней слог: добро да аз; было бы: освятится, придет, будет, а коли уж с предлогом рѣчь: да освятится, да придет, да будет; то являет желание и моление к дающему лицу, а <не> простую рѣчь изъяснительную" (Прения 1859, 95). Лаврентий, заменяя *святится* на *освятится*, исходил из того, что здесь должна быть употреблена форма будущего времени и поэтому исправил несовершенный вид на совершенный — различия по виду лежат в основе противопоставления настоящего и будущего времени в написанной им грамматике (ср. здесь пары *сѣку* — *посѣку*, *вижду* — *уввижду* и т.д. — Зизаний 1596, л. Ж/7 об.). Московские же справщики полагали, что в молитве употребляется форма желательного наклонения, образуемая сочетанием "предлога" *да* с презенсом; постановка же глагола совершенного вида означала, видимо, для них изменение смысла, при котором оказывалось, что в какое-то время Божие имя не было освященным. Как можно видеть, московские справщики начинают с грамматической идентификации форм и здесь пользуются четкими формальными аргументами. Правила обращения с этими формами также рассматриваются как нечто известное, хотя

они и не эксплицируются: молитвенное обращение требует "желательного образа".

Таким образом, грамматическая нормализация нуждается в грамматическом аппарате. Первоначально эта потребность также удовлетворяется за счет южнославянских источников. От южных славян приходит трактат "О осми частех слова" (Ягич 1896, 38 сл.; Ворт 1983а, 14—21), орфографический трактат Константина Костенечского (Ягич 1896, 247 сл.; Голдблатт 1987) и, возможно, некоторые другие сочинения (ср.: Соболевский 1903, 34—36). Этот филологический материал достаточно быстро осваивается русской книжностью, получает на русской почве свое продолжение и развитие и создает почву для контактов в этой сфере с западноевропейской (прежде всего немецкой) филологической традицией. Отвлекаясь от ряда мелких статей грамматического содержания, достаточно указать в этой связи на "Донатус" Дмитрия Герасимова (Ягич 1896, 524 сл.; ср.: Ворт 1983а, 76—165; Мечковская 1984, 38—40; Живов 1986, 93—107; Кайперт 1989; Захарьин 1991). С приездом в Москву в 1518 г. Максима Грека грамматическое учение получает здесь дальнейшее развитие и осмысливается как "начало и конец всакомъ любомѣдрію" и "вождь к' бѣгвидномъ смотренію и предивномъ и непристоупномъ бѣгословію" (Ягич 1896, 333). Разработанность грамматического учения связывается при этом с достоинством церковнославянского языка, и грамматика делается важнейшим критерием в оценке правильности текстов.

3. Развивающаяся филологическая регламентация, изначально необходимая для оригинальных текстов, получив жизнь, начинает оказывать непосредственное влияние и на тексты воспроизводимые. Их значение как образца языковой правильности, которая теперь связывается преимущественно с правилами, а не с текстами, становится второстепенным моментом, и они сами вовлекаются в сферу языковых инноваций. Образцовые тексты могут правиться в соответствии с вновь разработанными грамматическими правилами. Именно с Максима Грека и берет начало книжная справа, основанная на грамматике. Первым шагом грамматической нормализации была, как было показано, организация парадигм. Составляя парадигмы глаголов в прошедших временах, русские грамматисты сталкивались с омонимией форм 2 и 3 лица ед. числа типа *глагола* — *глагола* или *глаголаше* — *глаголаше*. Такое устройство парадигмы противоречило известным им образцам (греческим и латинским) и не согласовалось, видимо, с их представлениями о правильном грамматическом устройстве. При подобном строении парадигмы оказывалось, что с помощью славянских грамматических средств нельзя передать ту грамматическую информацию, которая имеется в соответствующих греческих или латинских формах. Поэтому в парадигмы прошедших времен во 2 или во 2 и 3 лице вводятся *л*-формы, что позволяет разрешить омонимию, т.е. получить приемлемую для тогдашних лингвистических воззрений парадигму. Именно так и поступает Дм. Герасимов в своем "Донатусе" (Ягич 1896, 566—567, 572, 575, 578, 583), и этот способ усваивается затем всеми последующими восточно-

славянскими грамматиками книжного языка (Живов и Успенский 1986, 261). Составление таких контаминированных (с нашей точки зрения, но не с точки зрения тогдашних книжников) парадигм относится к плану собственно грамматической нормализации.

В тех исправлениях, которые Максим Грек (в сотрудничестве с тем же Дм. Герасимовым) вносил в отредактированную им Толковую Псалтырь и Цветную Триодь, эта нормализация становилась основной книжной справы. Так, в редакции Толковой Псалтыри, осуществленной в 1521—1522 гг., встречаются замены типа *призыва* — *призвал еси, услыша* — *услышал еси, сотвори* — *сотворил еси*, и т.д. (Ковтун и др. 1973, 108). Такую же справу Максим продолжает и позднее, несмотря на преследования со стороны приверженцев традиционного текста (Ковтун и др. 1973; Живов и Успенский 1986, 259—260). Отвечая своим противникам, полагавшим, что, производя замены, он существенно менял смысл текста, Максим указывал, что "в том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее..." (Покровский 1971, 90; ср. 109, 126, 140, 158, 160). Этот ответ красноречиво свидетельствует о том, что правильность изменений для Максима и его учеников связывалась исключительно с грамматическими соображениями, с грамматической классификацией форм: существенной оказывалась принадлежность форм к одному разряду в грамматическом описании (которое, понятно, могло быть достаточно искусственным), тогда как несходства в традиционном употреблении этих форм выпадали из сферы внимания.

Как известно, Максима дважды судили (в 1525 и в 1531 гг.), и среди выдвинутых против него обвинений фигурировали и аргументы чисто лингвистического характера. Проведенная Максимом справа была отвергнута, однако справа, основанная на одних лишь текстологических соображениях (поиски наиболее древних и наименее поврежденных в языковом отношении списков и ориентация на них при исправлении книг), оказывалась мало результативной: не находилось критериев для выделения наиболее исправных (или наиболее древних) кодексов и вместе с тем указания подобных кодексов оказывались противоречивыми. В этих условиях обращение к грамматическим критериям делалось неизбежным, и история книжной справы XVII в. показывает, что в той или иной мере к ним обращались справщики разных направлений. Принципы и конкретные параметры справы, проведенной Максимом, находят продолжение в деятельности никоновских и послениконовских справщиков. Грамматические критерии, однако, играли роль и в дониконовской справе, как можно видеть из полемики московских справщиков (Ивана Наседки и игумена Ильи) с Лаврентием Зизанием (ср. цитировавшийся выше отрывок из их прений). Таким образом, грамматический подход прочно утверждается в русской книжности, и отдельные протесты против его частных приложений остаются лишь второстепенными моментами в общем развитии.

Прямым следствием утверждавшегося грамматического подхода была переоценка предшествовавшей книжной традиции и, в частности, тех явлений, которые получили распространение со вторым южно-

славянским влиянием. В литературе встречаются суждения, согласно которым в Московской Руси в XVI в. "наблюдается реакция на это влияние" (Успенский 1987, 227; ср. еще: Ковтун 1971). Однако эта реакция, основным свидетельством которой является предисловие ученика Максима Грека Нила Курлятева к переведенной Максимом в 1552 г. Псалтыри (см. публикацию: Ковтун 1975, 94—98), была не радикальным отвержением результатов второго южнославянского влияния, а отказом от некоторых периферийных элементов, не входящих в норму книжного языка как таковую. Можно сказать, что Максим Грек и апологет его инноваций Нил Курлятев отвергают все то, что, восходя к южнославянской книжной традиции, не обобщается в правилах и таким образом оказывается за пределами грамматической нормализации (см.: Кайперт 1985; Живов 1988, 67—68). Таким образом, и в данном случае ученая грамматическая разработка оказывается более важной, чем литературная традиция: образцы в качестве нормополагающего элемента заменяются правилами и в силу этого сами становятся объектом исправления.

4. Рассмотренные изменения кардинальным образом меняют отношение к книжному языку и вместе с тем подход к тексту, в том числе и к основному корпусу текстов. Этот корпус перестает восприниматься учеными книжниками как неприкасаемое священное предание, и его "правильность" связывается не с древностью, а с ученой филологической обработкой. На церковнославянский переносятся те критерии обработанности и грамматического искусства, которые для классических языков создавались западноевропейским гуманистическим движением. Максим Грек оказывается здесь не только наиболее влиятельной, но и в определенном смысле символической фигурой. Хорошо известно, что в годы своей жизни в Италии он входил в круг гуманистов, группировавшихся вокруг Платоновской академии во Флоренции, а затем участвовал в издательской деятельности Альдо Мануция в Венеции (Денисов 1943; Хани 1973). Позднейший его разрыв с гуманизмом и обращение к греческой патристической традиции не сказались, надо думать, на его отношении к филологическому знанию и представлениях о критериях обработки текстов: гуманистическая эрудиция и филологическая критика оставались для него необходимой предпосылкой адекватного понимания и толкования — не только Аристотеля и Платона, но и святоотеческой литературы. Это отношение он переносит и на почву церковнославянского языка, причем сам этот перенос обуславливает два новых момента. Во-первых, утрачивается связь гуманистической филологии с задачами восстановления античного наследия, ее объектом делается исключительно литература христианская (поскольку античный компонент в церковнославянской книжности отсутствовал). Во-вторых, проблема адекватной интерпретации текста соединяется с проблемой адекватного перевода. При всем этом герменевтическая техника остается гуманистической, и эта формальная сторона с необходимостью обуславливает инновации мировоззренческого характера.

Говоря о греческом языке, Максим Грек писал: "Оно ꙗко да вѣдомо есть вамъ ꙗко ѡллинскій зыкъ, сирѣчь греческій, ꙗко

есть хитрѣйшій, не всакъ сице оудобъ можетъ достигнѣти силы его до конца, аще не многа лѣта просидѣль кто боудеть оу нарочитых^x оучителей, и той аще боудеть грекъ родом^m и оумомъ остръ, еще же и охочъ, а точию не таковъ (иже) оучитса оубо ѿчасти а в' совершеніе его не дошоль" (Максим Грек III, 80). Объясняя эту особую сложность литературного греческого языка, он указывает, что "еллинскій гласъ ко еже изобилувати многознаменіемъ и многоименованіемъ глаголаній, но и чинми образы различны глаголанія отъ просіявшихъ въ риторской тяжести древнихъ мужей умышленми доволнѣ связанъ и сокровенъ есть, ихже въ разумѣніи совершеннѣ намъ быти еще многого времени и пота требуемъ..." (Максим Грек II, 312; ср.: Ягич 1896, 297—304; Иконников 1915, 178—180). Адекватный перевод требует сохранения этих характеристик, необходимых для адекватного понимания, и поэтому церковнославянский нуждается в ученой обработке, которая сделала бы такой перевод возможным. Соответственно, нужна такая его грамматическая нормализация, при которой любые греческие грамматические различия находят эквивалент в славянском, славянский при этом также становится "хитрейшим" языком, нуждающимся в гуманистической герменевтической технике. Как и в случае с греческим, совершенное знание славянского ставится теперь в зависимость от овладения целым комплексом гуманитарных дисциплин, поскольку "аще кто не доволнѣ и совершеннѣ наоучилса бѣдетъ, ѡже грамматикіи и пиитикіи и риторикіи самыя философіи, не можетъ прамо и совершенно ни же развѣсти писъемаа, ни же преложити а на ихъ языкъ" (Максим Грек III, 62; Ягич 1896, 301) [3].

Это новое — в восточнославянском контексте — понимание не остается специфичным для Максима Грека (который, конечно, стоит среди славянских книжников особняком). Его воззрения утверждаются и в России (ср.: Фрейданк 1968, 99, 107), и на Украине благодаря целой плеяде его учеников (в частности, кн. Курбского и старца Артемия, а опосредствованно, возможно, и Ивана Федорова). На Украине идущая от Максима традиция в конце XVI в. находит поддержку и развитие в деятельности Острожской академии, а затем Львовской братской школы. Относительно первой Я. Исаевич справедливо замечает: "Before the founding of the Ostrih school, there had been in the Ukraine virtually no constant symbiosis between traditional forms of studying the Byzantine Greek cultural heritage and the more modern secular approaches to Hellenic studies that were the achievement of humanist scholarship. Men of letters at Ostrih tried to unite these trends and thus took the first steps in creating an institutionalized framework for a more modern model of Greek studies in eastern Europe" (Исаевич 1990, 100). Эта гуманистическая модель (возможно, несколько ущербная сравнительно со стандартами Максима Грека) распространялась, естественно, и на церковнославянскую книжность. С этой моделью связано, в частности, появление грамматик Зизания и Смотрицкого, закрепляющих новый подход к книжному языку. В XVII в. украинские инновации повлияли, в свою очередь, на культурные процессы в Москве, причем украинский элемент соединился здесь с традициями Максима Грека (ср.

вполне символичное в данном отношении использование приписываемых Максиму писаний в качестве предисловия к московскому изданию грамматики Смотрицкого 1648 г.).

Инновации гуманистического типа приводят к возникновению грамматически изолированной, "ученой" разновидности церковнославянского языка (ср.: Успенский 1987, 248—252; Живов 1991) [4] и вместе с тем к новому восприятию этого языка и основного корпуса написанных на нем текстов. В предшествующий период церковнославянский мог восприниматься как священный язык, как своеобразная "икона православия" (Успенский 1984). Ему могло приписываться божественное происхождение (например, в Сказании о русской грамоте — см.: Живов 1992) или, в ином случае, он мог противопоставляться греческому как "святой" язык профанному (ср. у черноризца Храбра и идущей от него традиции: "словѣн'скаа писмена стѣиши сѣ и ѷстнѣиша. стѣ бо мжѣ створиць на ю, а грѣчьскаа ѣллини погани" — Ягич 1896, 11; Куев 1967, 190—191; о данной традиции см.: Успенский 1987, 232—234). Такое восприятие находит частичную аналогию в средневековой Европе в понимании латыни как *lingua sacra*.

Для гуманистической традиции ценность книжного языка состоит не в его "святости", а в его обработанности. Поэтому древность текста, в частности, древность перевода перестает рассматриваться как его принципиальное достоинство; существенно большее значение приобретают другие его свойства, определяемые ученостью редактора или переводчика. Вместе с тем филологическая критика (и грамматическая нормализация) неизбежно обнаруживает непоследовательность древних переводов и, соответственно, ставит под сомнение их совершенство. Критическое отношение к кирилло-мефодиевскому наследию обнаруживается уже у Максима Грека, который, защищая производимую им справку, говорит о редактируемых им книгах: "...исправляю ихъ, в нихже растлѣшася ово оубо ѿ приписьющихъ ихъ не наоученыхъ същихъ и неискъсныхъ в разѣмѣ и хитрости грамматикѣи стѣи, ово же и ѱ самѣ^х исперва сотворшихъ книжнѣи переводѣ прѣпомятнѣихъ мѣжей — речеть бо са истина: есть нѣгдѣ не полно разѣмѣвше еллинскихъ реченѣи и сего ради далече истины ѱпадоша" (Максим Грек III, 62; ср.: Ягич 1896, 301). Видимо, для первой половины XVI в. эти мысли были нехарактерны, это была позиция греческого книжника, едва ли разделявшая его русскими коллегами. Однако с распространением грамматического подхода утверждается и подобное отношение к древним переводам. Так, Афанасий Холмогорский, полемизируя со старообрядцами, указывал, почти дословно повторяя Максима, на особую сложность греческого языка ("еллиногреческѣи языкъ есть сѣло треденѣ, имже вся стѣиа книги ихже црковѣ содержатъ писаны, и не токмо малыа навки воспрѣивѣ, но и философскихъ и бгословскихъ навкѣ ѷчащемѣса на дрѣгѣи языкѣ преводити книги сѣло есть тредно. како языкъ мѣдрѣи..."). Трудность перевода преодолевается лишь постепенно, многими поколениями книжников, которые должны "исправить лѣчше. Ибо егда болши людей разѣмнѣихъ, болше единого смыслять... И кромѣ прѣжднихъ мѣдрѣихъ людей, и ихъ преводовѣ. писанѣе бо стое вѣщаеть,

нако множество мѣдрыхъ спасеніе мѣры” (РГАДА, ф. 381, № 413, л.82—82об.; Афанасий Холмогорский 1682, л.262об.). Указав на несовершенство начальных переводов, Афанасий пишет: “Обаче ѿ онаго образа мнози лѣьше сотворяють, но такіа похвалы лишаются, ради перваго образца сотвореннаго, что первое есть дѣло всякое трѣднѣйшее, не ѡкаряются же что и лѣьше к’ томъ содѣлають. Но что болши дѣлають, изряднѣйшее дѣло и честнѣйшее является” (л.82).

Такой подход, при всех оговорках, подрывает представление о святости древних переводов. Традиционное культурное сознание, видевшее основу книжного языка в священных текстах, созданных славянскими первоучителями, перестает определять динамику литературного языка и характер литературного процесса. Эта роль переходит к книжникам, проникнутым новым культурным сознанием. Именно это новое сознание делает возможным ученое усовершенствование основного корпуса текстов, т.е. Св. Писания и богослужебных книг, и обуславливает необходимость их филологической интерпретации и критического разбора. Эти задачи решаются с помощью знаний, которые могут быть непосредственно с верой не связаны, т.е. носить секулярный характер. Ценность таких знаний не зависит от вероисповедной чистоты их источника, поэтому новое восприятие создает предпосылки для обращения к европейской учености и воспроизведения европейских моделей образования. Для традиционной православной культуры, требующей духовного (в конечном счете откровенного) познания Св. Писания и предания, этот новый подход оказывается чрезвычайной новизной и вызывает глубокое противодействие. Такая реакция имеет место и на Украине, и в Московской Руси, и вызванный никоновскими реформами раскол является (в данной перспективе) лишь частным ее случаем [5]. Тем не менее этот подход утверждается в восточнославянских культурах в XVII в., и без этого основополагающего момента их переориентации невозможно понять их дальнейшее развитие и, в частности, характер их связи с другими культурами. Развитие этой ученой традиции в употреблении и изучении церковнославянского играет определяющую роль и в рецепции русского церковнославянского сербами и болгарами в XVIII и XIX вв.

5. Мы рассмотрели лишь один — лингвистический — аспект возникновения нового отношения к тексту в восточнославянских культурах, отношения, близкого по типу западноевропейскому гуманистическому подходу, хотя и отличающегося от него рядом существенных моментов. Отношение к тексту является, однако, важнейшим показателем культурного типа и определяет не только динамику книжного языка, но и характер литературного развития. Ориентация на основной корпус текстов как на нормопологающее для литературы начало обуславливает специфическую структуру книжности, строящуюся не на жанровом принципе, а на принципе образцов и моделей, заданных единым (нерасчлененным) основным корпусом (Пиккио 1973). Структура древнерусской книжности явно отлична в этом плане от структуры византийской словесности. Очевидно, что изменение подхода к тексту, при котором основной ценностью оказывается не

традиционность, а ученость, должно привести и к изменению литературного пространства. На смену конгломерату текстов с нечетко определенными границами и возможностью постоянного взаимодействия и взаимопроникновения должна прийти риторическая расчлененность, при которой место текста в литературном пространстве определяется его жанровыми признаками. В восточнославянских литературах эти процессы, как кажется, приходится на конец XVI—XVII в., и именно в них можно видеть аналог рассмотренного лингвистического развития. Соответственно именно в этой сфере, а не в окказиональном появлении "личностного начала" (которое в том или ином виде можно найти в литературе любой эпохи), следует искать инновации гуманистического типа. Канва языковых процессов, рассмотренных в настоящей работе, может указать направление и для этого будущего исследования. Это позволило бы с достаточной полнотой представить особые черты того феномена, который с определенными оговорками можно было бы назвать восточнославянским гуманизмом.

[1] Этот второй этап имел место, естественно, после первого. Если первый начинается в конце XIV — начале XV в., то второй по крайней мере на полвека позже. В силу этого расхождения следы второго южнославянского влияния в текстах разного типа появляются в разное время. Отсюда иногда делаются неверные выводы. Так, Л. П. Жуковская отрицает само влияние южнославянской рукописной традиции, основываясь при этом на орфографии приписок к разным спискам Пролога XIV—XVI вв. и на орфографии Жития Анисии в списках того же Пролога (Жуковская 1987; Жуковская 1982). Исследованные автором отрывки действительно показывают, что орфографические характеристики, связываемые со вторым южнославянским влиянием, появляются в данных текстах лишь со второй половины XV в. Отсюда автор делает далеко идущие выводы о том, что новые явления графики и орфографии появляются в результате грецизации и архаизации, обусловленных развитием концепции Москвы — Третьего Рима и с южнославянской книжностью никак не связанных.

Представляется, что такие выводы неправомерны уже в силу того, что ни грецизацией, ни архаизацией нельзя объяснить появление жд на месте *dj или написаний типа *трѣгъ* (вместо позднерусского *торгъ*): с ориентацией на греческий эти явления никак не связаны, и кажется маловероятным, чтобы книжники XV в. извлекли их из древних "харатейных книг" (как мы знаем, даже в русских рукописях XI в. такие написания последовательно не проводятся); между тем такие написания естественно объясняются, если приписать их ориентации на южнославянскую письменную традицию (как это и сделал в свое время А. И. Соболевский — Соболевский 1894).

Что же касается обследованных Л. П. Жуковской текстов, то встает вопрос об их значимости. Трудно приписать такую значимость орфографии приписок. Приписки стоят, как правило, на периферии корпуса книжных текстов, они часто содержат отступления и от нормативной орфографии, и от нормативной грамматики, и поэтому орфографическая регламентация затрагивает их отнюдь не в первую очередь. Сознательные орфографические инновации (а именно к ним относятся те новые явления, которые связываются со вторым южнославянским влиянием) должны касаться прежде всего стандартных переписываемых текстов, а в приписках они могут отразиться лишь тогда, когда сделаются для писцов абсолютно привычными (на это вполне может уйти 50—70 лет). Понятно, что подобные инновации первоначально захватывают лишь небольшое число рукописей, лишь постепенно подчиняя себе книжную традицию. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что они не отразились в исследованных списках жития Анисии, относящихся к XV в. Несравненно более значим тот факт, что имеется ряд русских рукописей первой половины XV в., в которых обсуждаемые инновации имеют место. Укажу хотя бы на Триодь Цветную 1403 г. (ГИМ, Усп. 7/1088 — Князевская и Чешко 1980, 290—292), Лествицу 1423—1424 гг. (ГИМ, Усп. 18),

Октоих 1436 г. (ГИМ, Син. 199), Устав церковный 1437--1438 гг. (ГИМ, Син. 331 — ср. снимки последних грех рукописей: Колесников 1913 л. 15, 19) и т.д. Существование подобных рукописей ставит вне всяких сомнений наличие контактов между русской и южнославянской книжностью в указанный период.

Как мне представляется, Л.П. Жуковская права, полагая, что основные стимулы так называемого второго южнославянского влияния лежали в собственном развитии русской книжной традиции. Верно и то, что этот процесс не связан непосредственно с иммиграцией южных славян в Россию (каковы бы ни были размеры этой иммиграции — см. об этом: Талев 1973). Этот процесс, однако, наблюдается уже в первой половине XV в., и поэтому его исторический контекст — это не концепция Москвы — Третьего Рима, а те попытки создания православной ойкумены, объединенной общей идеологией и стандартизованным литературным языком, которые предпринимаются в Византии, афонских монастырях и православных славянских государствах во второй половине XIV — начале XV в.

[2] Весьма показательна в этом плане "Буковница" Герасима Ворбазомского (рукопись 1592 г., ГБЛ, ф. 173.1 [собрание Московской духовной академии], №35 — см. об этом памятник: Аксенова 1981; авторство Герасима установлено Б.А. Успенским: Успенский 1987, 202). В третьей части этого сочинения даются списки прилагательных и причастий с набором их словоизменительных форм. И лексика, и грамматические формы являются здесь по большей части специфически книжными, так что этот раздел оказывается своеобразным справочником для построения и употребления маркированно книжных элементов. Характерно в этом плане, что исключительно большое место среди приведенной лексики занимают сложные слова, например, из 33 слов на букву А сложными являются 29, из 137 слов на букву Б сложных 84, для слов на букву Д соответствующие цифры — 178 и 110. Многие сложные прилагательные появляются в результате языкового творчества автора "Буковницы", ср.: звѣрогласителєнь, агѣлопитань, рѣзопримателє^н и т.д.

Слова в данной части "Буковницы" расположены в виде своего рода словообразовательных (или формообразовательных) гнезд. В типичном случае гнездо состоит из четырех элементов: страдательного причастия прошедшего времени, отглагольного прилагательного на *-тельн-*, страдательного причастия настоящего времени и действительного причастия настоящего времени (например, *истагаасьмь, истоуєнь, истоуетилєнь, истоуающь; содѣваємь, содѣвъ, содѣтелє^н, содѣвающь* — л. 161, 173об.) Как можно видеть, прилагательные с суф. *-тельн-* оказываются здесь регулярным образованием, и, таким образом, та модель, которая получила большое распространение после второго южнославянского влияния, делается здесь универсальным способом производства специфически книжных элементов. В этом случае становится очевидным, что формирование специфически книжной лексики осуществляется прежде всего не за счет заимствования тех или иных элементов, а за счет последовательной эксплуатации ограниченного числа словообразовательных моделей. На прямую связь подобного положения вещей с грамматическим подходом может указывать соотношение прилагательных на *-тельн-* с греческими отглагольными прилагательными на *-τος* (Кайперт, 1977, 120—126), и можно думать, что в словообразовательном творчестве Герасима отразилась грамматическая регулярность греческого формообразования.

[3] В частности, правильность перевода связывается с умением дать грамматический анализ переводимого текста и найти однозначные славянские эквиваленты для категорий греческого оригинала. Именно этот подход отражается в диалоге Максима Грека и Нила Курлятева, который воспроизводит Нил в своем предисловии. Максим говорит: "К томуж по грѣцески речи ѡвмасия су, по руски чюдѣсна. И я ему отвѣщал: а у нас стоит чюдѣса. И старѣць отвѣщал: да у нас по гречески Нилъ прямо ѡвмасия су, а по вашему чюдѣсна. По грѣцески ѡв'мата по нашему чюдеса"(Ковтун 1975, 97). Речь идет, видимо, о стихе Пс. LXXXVIII, 6, который в стандартном славянском переводе читается так: "Исповѣдѣть небеса чудеса твоя Господи..." (ср. в русском переводе: "И небеса прославят чудные дела Твоя, Господи..."). В греческом тексте здесь стоит: "Ἐξομολογήσουσι αἱ ὄβρανοι τὰ θαυμάσια σου, κύριε". По мнению Максима, славянские переводчики не опознали здесь прилагательного θαυμάσιος в вин.мн. ср.рода (оно употреблено здесь в обобщенно-субстантивированном значении) и поэтому перевели его существительным "чудеса". Правильный перевод требует, с точки зрения Максима, уяснения грамматического статуса греческой формы и нахождения ее

славянского грамматического эквивалента ("чудесная твоя"). Неумение найти точный грамматический эквивалент рассматривается Максимом как следствие недостаточного знания греческой грамматики и недостаточной разработанности славянской. Целью оказывается такая разработка славянской грамматики, при которой она была бы во всех случаях способна передать грамматическую изощренность классических языков.

Этот взгляд на требования к грамматически исправному переводу усваивается и позднейшими поколениями русских книжников. Так, в том споре о молитве Господней, который вел Лаврентий Зизаний с московскими справщиками и который цитировался выше, имеется ссылка и на греческий текст молитвы с грамматическим разбором этого текста и с выводами о том, какая славянская конструкция должна передавать соответствующую греческую. Вот этот фрагмент: "Лаврентіи рече: По греческому языку так говорится, что освятится имя твоє. Кто у вас умѣет по греческии? Мыжь рѣхом ему: Умѣем по греческии стлоко, что не дадим ни у каковы рѣчи никакова слога ни убавити, ни приложити. Да есть у государя нашего царя і великого князя Михаила Феодоровича всеа Руси переводчики греческого языка и грамоте умѣют и псалмы в церкви говорят, і они говорят: да святится, а не освятится, аги асѣнто, а не: ина аги асѣнто" (Прения 1859, 95; речь идет о следующих словах молитвы Господней: *ἁγιοσθήτω τὸ ὄνομα σου*; московские справщики указывают, что в молитве нет союза *iva*, после которого возможно желательное наклонение). Как можно видеть, выработанные Максимом принципы находят применение и в справе дониконовского времени.

[4] Естественно, это было ограниченным и элитарным процессом. Не следует представлять себе дело так, что в какой-то момент грамматический подход пришел на смену текстологическому и вытеснил его, оставив в прошлом все те явления, которые были вызваны к жизни подходом текстологическим. В самом деле, грамматический подход не привел к коренному изменению обучения книжному языку. Грамматическая образованность распространялась медленно и в ограниченных размерах и во всех случаях — вплоть до конца XVIII в. — выступала в качестве своего рода добавки. Ученик, овладевший грамматическими правилами, уже обладал первоначальным знанием книжного языка: он знал достаточно большое число церковнославянских текстов и выработывал те или иные механизмы их понимания, независимые от грамматической систематизации. Поэтому грамматический подход к книжному языку не осуществлялся в России в чистом виде (сравнительно, например, с подходом к латыни у немцев или поляков), и ориентация на стандартные тексты оставалась в какой-то степени исходной для любого грамотного человека. Поэтому развитие грамматического подхода приводит не к радикальной смене книжного языка, а к возникновению добавочной его разновидности.

[5] Обширную сводку примеров с протестами против грамматики и других филологических дисциплин из сочинений как украинских, так и московских авторов приводит Б.А. Успенский (1987, 257—258). Представляется, что именно в этом контексте актуализируется и представление о "святости" церковнославянского языка, о котором говорилось выше. Высказывания о "святости" церковнославянского встречаются у тех же самых украинских и русских авторов, которые отвергают как нечистое грамматическое и риторическое учение (например, у Иоанна Вишенского и ряда старообрядческих авторов). У этних высказываний, правда, есть своя уходящая в глубь веков традиция, однако кажется, что в предшествующие эпохи восприятие церковнославянского как "святого" языка, созданного святыми мужами, остается на периферии культурного сознания. С XVI в. оно приобретает полемическую значимость — именно противостояло новому пониманию церковнославянского как ученого языка. Нет оснований экстраполировать эту оппозицию на более ранние периоды и связывать особенности функционирования книжного языка древней Руси с представлениями о его святости.

Аксенова Е.А. Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции (текстологический и акцентологический анализ) // Сов. славянов. 1981. № 1. С. 66—77.

[Афанасий, архиепископ холмогорский]. Увет духовный. М., 1682.

Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 [IV Международный съезд славистов. Доклады].

Ворт 1983а — *Worth D.S.* The Origins of Russian Grammar. Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars. Columbus, 1983.

Ворт 19836 — *Worth D.S.* The "Second South Slavic Influence" in the History of the Russian Literary Language // American Contribution to the Ninth International Congress of Slavists. Vol.I. Linguistics. Ed. by M.Flier. Columbus, 1983. P. 349—372.

Голдблатт 1987 — *Goldblatt H.* Orthography and Orthodoxy. Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters. Firenze, 1987.

Денисов 1943 — *Denissoff E.* Maxime le Grec et l'Occident. Contribution à l'histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris; Louvain, 1943.

Живов В.М. Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник. О книге. D.S. Worth. The Origins of Russian Grammar... Columbus, 1983// Russian Linguistics, vol.10 (1986), P. 73—113.

Живов В.М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков// Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 49—98.

Живов В.М. Выступление в ходе круглого стола, посвященного 1000-летию Крещения Руси // Сов. славянов. 1988, № 6. С. 36—39.

Живов В.М. "Простота" языка и ее реализации. о языке книги "Стагир" (1683—1684 гг.) // Сборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII (1990). Посвешено професору др. Александру (Младеновићу поводом 60-годишњице живота Нови Сад, 1990. С. 141—154.

Живов В.М. Slavia Christiana и историко-культурный контекст Сказания о русской грамоте// Русская духовная культура/ Под ред. Л. Магаротто и Д. Рици. Тренто, 1992. С. 71—125 [Dipartimento di storia della civiltà europea. Testi e ricerche, n. 11].

Живов В.М., Успенский Б.А. Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола быти в русском языковом сознании XVI—XVIII веков// Russian Linguistics, vol. 10 (1986), P. 259—279.

Жуковская Л.П. К вопросу о южнославянском влиянии на русскую письменность (Житие Анисьи по спискам 1232—1632 гг.)// История русского языка: Исследования и тексты. М., 1982, С. 227—287.

Жуковская Л.П. Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. XV — 1-й пол. XVI в. (Об ошибочности понятия "второе южнославянское влияние")// Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987, С. 144—176.

Захарьин Д.Б. О немецком влиянии на русскую грамматическую мысль// Russian Linguistics, vol.15 (1991). S. 1—29.

Зизаний Л. Грамматика словенска Съвершенна искусства осми частей слова. В Вилни, 1596.

Иконников В.С. Максим Грек и его время. Киев, 1915.

Исаевич 1990 — *Isaievych I.* Greek Culture in the Ukraine: 1550—1650// Modern Greek Studies Yearbook. Vol.6 (1990). S. 97—122.

Кайперт 1970 — *Keipert H.* Zur Geschichte des kirchenslavischen Wortguts im Russischen// Zeitschrift für slavische Philologie, XXXV (1970), 1, S. 147—169.

Кайперт 1977 — *Keipert H.* Die Adjektive auf -teľъъ. Studien zu einem Kirchenslavischen Wortbildungstyp. I. Teil. Wiesbaden, 1977.

Кайперт 1985 — *Keipert H.* Nil Kurljativ und die russische Sprachgeschichte// Litterae slavicae medii aevi. Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae. München, 1985, S. 143—155.

Кайперт 1985 — *Keipert H.* Deutsches im russischen Donat// Die Welt der Slaven, XXXIX (1989), 2, S. 236—258.

Князевская О.А. Чешко Е.В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского// Тырновска книжовна школа. Т. II. София, 1980. С. 282—292.

Ковтун Л.С. Русские книжники XVI столетия о литературном языке своего времени// Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971. С. 3—23.

Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.

Ковтун Л.С., Синицина Н.В., Фонкич Б.Л. Максим Грек и славянская Псалтырь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в)// Восточнославянские языки. Источники для их изучения. М., 1973. С. 99—127.

Колесников И.Ф. Сборник снимков с русского письма XI—XVIII вв. М., 1913.

Кувев К.М. Черноризец Храбр. София, 1967.

Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М., 1958.

- Максим Грек — Сочинения Максима Грека. Ч. I — III. Казань, 1859—1862.
- Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1964.
- Пиккио 1973 — *Picchio R. Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom// American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Vol. II. The Hague, 1973, S. 439—467.*
- Пиккио 1975 — *Picchio R. On Russian Humanism: The Philological Revival. — Slavia, XLIV (1975), 2, S. 161—171.*
- Покровский Н.Н. (изд.). Судные списки Максима Грека и Исаака Собака. М., 1971.
- Прения 1859 — Прения литовского протопопы Лаврентия Зизания с игуменом Ильёю и справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лаврентием катехизиса// *Летописи русской литературы и древности. Изд. Н. Тихонравовым. Т. II. М., 1859. С. 180—100.*
- Соболевский А.И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв. СПб., 1894.
- Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903 [Сб. ОРЯС, LXXIV, 1].
- Соболевский А.И. История русского литературного языка. Л., 1980.
- Талев 1973 — *Talev I. Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia. München, 1973.*
- Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Успенский 1984 — *Uspensky B.A. The Language Situation and Linguistic Consciousness in Muscovite Rus': the Perception of Church Slavic and Russian// Medieval Russian Culture. Ed. by N. Birnbaum and M.S. Flier. Berkeley; Los Angeles; London, 1984, S. 365—385.*
- Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI — XVII в.). München, 1987.
- Фрейданк 1968 — *Freydank D. Zu Wesen und Begriffsbestimmung des russischen Humanismus// Zeitschrift für Slawistik, Bd. XIII (1968), 1, S.98—108.*
- Хани 1973 — *Haney J.V. From Italy to Muscovy. The Life and Works of Maxim the Greek. München, 1973.*
- Ягич И.В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896 [Исследования по русскому языку, I. СПб., 1885—1895].